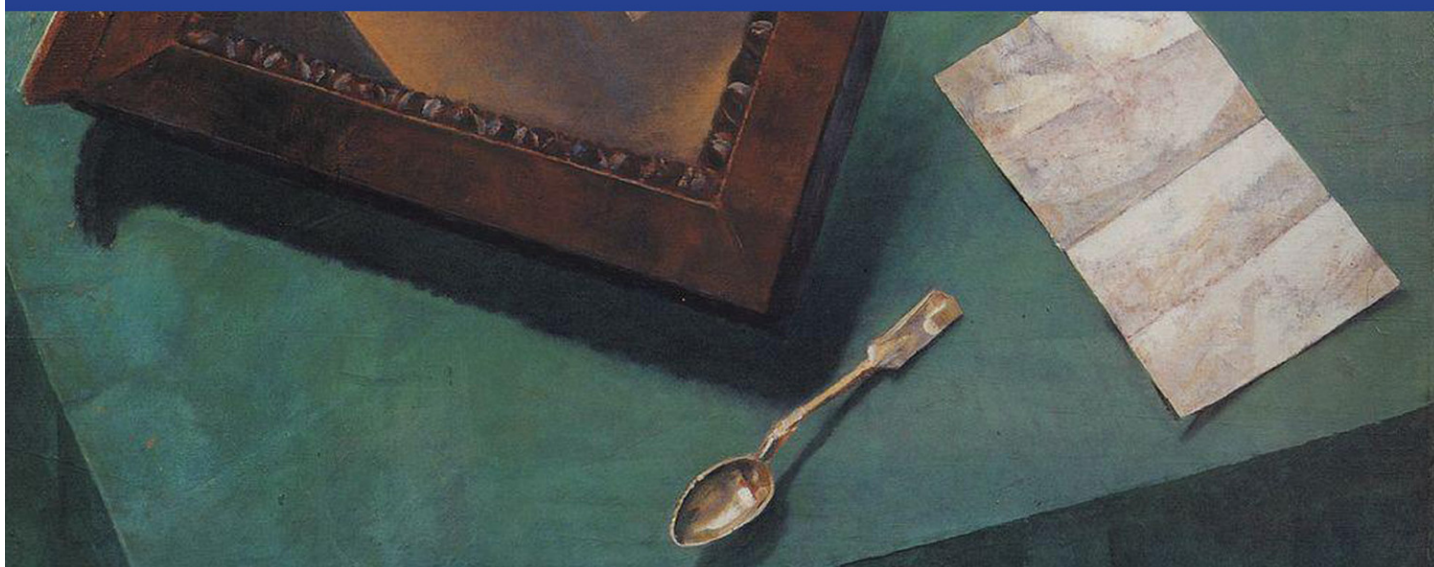


Анатолий Рыбаков

Роман-воспоминание

ФТМ



Анатолий Рыбаков

Роман-воспоминание

«ФТМ»

1997

Рыбаков А. Н.

Роман-воспоминание / А. Н. Рыбаков — «ФТМ», 1997

Судьба Анатолия Рыбакова (1911–1998), автора романов «Тяжелый песок», трилогии «Дети Арбата», «Кортик» и «Бронзовая птица», завоевавших всеобщее признание, сложилась, исходя из основных ключевых моментов истории России XX века. Долгая жизнь писателя легла на страницы произведения, названного лаконично и всеобъемлюще – «Роман-воспоминание».

© Рыбаков А. Н., 1997

© ФТМ, 1997

Содержание

1	6
2	10
3	14
4	21
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Анатолий Рыбаков

Роман-воспоминание

© Текст. А. Н. Рыбаков, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

* * *

1

Воспоминания не поддаются точной хронологии. Написав три повести о детстве и три романа о юности, я смешал правду с вымыслом, трудно теперь отделить одно от другого.

Я родился в 1911 году 14 января в городе Чернигове. Из родильного дома мою мать и меня, завернутого в тулуп, дедушка на санях отвез в село Держановку, где работал отец. Мороз был под тридцать градусов, и всю дорогу дедушка держал палец у меня во рту: проверял, не замерз ли я.

В Держановке мой отец управлял винокуренными заводами. Помню большой помещичий дом в глубине просторного двора, в дом нельзя было заходить – там жил барин. Как-то он прислал нам садок с живой рыбой, и отец что-то выговаривал матери по поводу этой рыбы. Первое мое воспоминание о матери – ее испуганное лицо, об отце – искривленные в злой насмешке губы. Радость, испытанная мной при виде живых серебряных рыбок, была убита.

Однажды отец взял меня в поездку на завод. Для чего, не знаю, не любил ни меня, ни сестру, мы тоже не любили и боялись его. Самого завода не помню, но ощущения раннего детства возникают, когда я чувствую запахи солода, сусли и барды. Возвращались на линейке, теперь таких линеек нет, на нее садились верхом, в затылок друг другу, упираясь ногами в закрепленные стремяна, впереди с вожжами в руках отец, за ним я, за мной кучер – рыхлый деревенский парень.

Лошадь бежала, попукивая: пук-пук... пук-пук. Это развлекало меня и отгоняло сон. Кучер, задремывая, приваливался ко мне, я поводил плечами, но молчал, боясь гнева отца: обругал бы и меня и кучера. Я молча отталкивал кучера плечом, он пробуждался и отваливался.

Мы ехали вдоль леса по укатанной проселочной дороге. Вечерняя прохлада сменилась ночной теплыней. Взошла луна, осветив синим светом поля, ровными скатами уходившие за уже невидимый горизонт. Пугающая тишина леса, тоскливое однообразие бескрайних полей, освещенных таинственным лунным светом, – первое воспоминание о родной земле.

После революции до лета девятнадцатого года мы жили у дедушки, отца моей матери, в маленьком городке Сновске Черниговской губернии. Позже он был переименован в Щорс: в честь местного уроженца, героя гражданской войны. Сейчас, возможно, городку возвращено прежнее название.

Дедушку и бабушку со стороны отца я не знал. Дедушкой и бабушкой были для меня родители моей матери – Рыбаковы.

Я был старшим внуком, и дедушка меня очень любил. Широкоплечий чернобородый человек, очень красивый, в Москве, куда он приехал уже стариком, прохожие оборачивались ему вслед. У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, оттененное черной цыганской бородой, и раскосые японские глаза с синими белками.

В молодости дедушка работал на строительстве железной дороги, таскал шпалы. Потом на скотобойне, гонял гурты, сбывал сельскохозяйственные машины и, наконец, обзавелся собственным делом – лавкой скобяного и москательного товара. Силы он был необычайной – ухватившись за рога, ставил быка на колени. Происхождение его фамилии – Рыбаков – мне не известно.

Бабушка моя из Гомеля, дочь ломового извозчика. К ней сватался тоже ломовой извозчик, и он уговорил своих товарищей отколотить дедушку, чтобы тому не повадно было ездить в чужой город отбивать невест. Они захватили дедушку на вокзале. Тот, кто видел драки ломовых извозчиков, знает, что это такое: бьются насмерть железными ломками, которыми закручиваются веревки на телегах. Дедушка вырвал у одного извозчика лом и вбежал в станционный зал. Вокзал огласили крики перепуганных женщин, плач детей. Станционное начальство

попряталось. Сломом в руках дедушка проложил дорогу через толпу, схватил мою будущую бабушку и сел в поезд. Венчались они в Сновске.

В городе и окрестных селах дедушку уважали за силу, бесстрашие и справедливость. Добрый человек, но вспыльчивый и скорый на расправу. Раздавал женатым сыновьям увесистые оплеухи. Докторов не признавал, от всех болезней употреблял гнилые яблоки – с хорошим поносом, по его убеждению, проходила любая хворь.

Я сам был свидетелем такой сцены. Два мужика украли у дедушки несколько полос железа. Никем не охраняемое, оно лежало возле лавки. Был базар, и как заметил дедушка воров в этой суете, не знаю. Он выскочил из лавки. Увидев его, мужики бросили железо и стояли, оцепенев от страха. Один из них был знаком дедушке, другой нет. Собралась толпа. Кто-то предложил сбегать за милицией. Но дедушка не разрешил. Он велел отнести железо на место. Потом спросил у знакомого мужика:

– Как рассчитывать будем, Ничипор?

Тот молчал.

Ударом кулака дедушка опрокинул мужика на землю, изо рта и из носа у того шла кровь.

– Рассчитались?

Мужик молчал, утирая окровавленный рот.

Второго, незнакомого, дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство – этому, знакомому, он раньше доверял.

До сих пор в моей памяти стоит москательный запах дедушкиной лавки, заставленной ящиками, лотками с гвоздями, мешками с краской, бочками с олифой, железом, косами, серпами, подковами, топорами.

Дедушка был торговец, честный, порядочный, трудолюбивый. С великими трудами добывал он «копейку» и заставлял домашних ее беречь.

Однажды моя мать, тогда еще девушка, несла из кухни в столовую керосиновую лампу. И вдруг раскаленное стекло упало ей на руку: она недостаточно плотно вставила его в лампу. Но она его не сбросила, а, осторожно ступая, донесла до столовой. Предпочла сжечь руку, нежели разбить стекло, стоившее несколько копеек. До конца жизни на руке матери оставался след от ожога.

Вместе с тем никто так не помогал другим, как дедушка, – человек состоятельный, он считал своим долгом выручать людей из беды.

Жила в городе вдова Городецкая, пекла и продавала на базаре булки, зарабатывала гроши, на них кормила кучу детей, оборванных и вечно голодных. Но задолжала богатому мучнику Фрейдкину, тот перестал отпускать ей муку. Кто может помочь? Конечно, Авраам Рыбаков.

Дедушка пошел к Фрейдкину и сказал:

– Долг ее выплачу я. А ты выдашь ей два пуда муки бесплатно. И чтобы было так, как я говорю. Так, и никак иначе.

Дедушка выплатил долг, Фрейдкин отпустил Городецкой муку, она снова начала торговать булками, прославляя дедушку на весь базар.

В двадцать шестом году, летом, я гостил у дедушки в Щорсе. Туда же из Америки туристом с женой и дочерью приехал дедушкин брат Сэм, богатый мебельный фабрикант. Жена, важная дама, обращала ко всем застывшую на лице улыбку, дочь была полна высокомерного презрения к этой дикой стране и ее жителям. Естественно, все родственники, близкие и дальние, являлись в дедушкин дом засвидетельствовать свое почтение знатным иностранцам. И каждому Сэм, гладковыбритый человек, совсем не похожий на дедушку, давал по доллару. Отворачивался, вынимал из толстого бумажника долларовую купюру и, хмурясь, вручал посетителю. Тень недовольства пробежала по дедушкиному лицу – чувствовал унижительность этой процедуры. Давая деньги, дедушка помогал людям, а его брат отделялся от них.

Сновск не напоминал традиционные нищие, подслеповатые еврейские местечки. Да таких и не было на Черниговщине, где еврейское население едва достигало двух процентов. Это был край черты оседлости, северо-восточная граница Украины, дальше начинались Орловская и Курская губернии. Сновск – русский город, большой железнодорожный узел, окруженный зажиточными украинскими селами. Среди сновских евреев были потомственные паровозные машинисты, винокуры, лесоводы, врачи, дантисты, аптекари, учителя, управляющие именьями, арендаторы.

Дедушкин дом на Большой Алексеевской улице запомнился мне умиротворенной субботней тишиной, разительной в сравнении с базарной суетой будней. На столе белоснежная скатерть, тускло мерцают свечи, пахнет отварной рыбой и халой, дедушка расхаживает по комнате и читает молитву. Он был верующим в той степени, в какой должен быть верующим простой необразованный и деловой еврей, для которого вера – это, прежде всего, форма национального существования. Религия была его праздником, отдохновением от дел и забот, ее догмы – основой порядка, которым он жил, ее обычаи – условием сохранения на земле его гонимого народа.

Медленно и важно, заложив руки за спину, в парадном сюртуке и новом картузе шествовал дедушка по субботам в синагогу. Я нес за ним молитвенник и бархатную сумку с талесом. В Держановке мы жили среди русских людей, я говорил только по-русски, как и мои родители – интеллигенты социал-демократического толка, атеисты. И я, ребенок, тоже ни в какого бога не верил. Но отказать дедушке, увильнуть от этой обязанности не мог, и я нес за ним его молитвенник и сумку с талесом, пританцовывая на шатающихся досках деревянного тротуара.

Дедушка был староста синагоги. Обычно на эту должность выбирали человека состоятельного, чтобы мог и на синагогу дать, и бедным помочь, и с начальством поладить. Выбрали дедушку. Не самого богатого в городе, но его достоинство и мудрость были дороже любых денег. Выбрали его и начальником местной добровольной пожарной дружины, как человека решительного, крутого, умеющего твердой рукой наводить порядок и дисциплину. Мужчин туда принимали отборных, сильных, смелых. И вот, с одной стороны, дедушка – почтенный староста синагоги, с другой – начальник добровольной пожарной дружины: мчится на пожар, нахлестывает лошадей, свистит и гикает, ругается матом и лезет в самый огонь.

После революции дом у дедушки реквизировали, в нем разместился комсомольский клуб. При нэпе дедушка снова завел скобяную торговлю и купил маленький домик на той же Алексеевской улице в дальнем ее конце. Потом нэп ликвидировали, дедушку посадили в тюрьму, требовали золота, денег, но ничего не добились и выпустили. Тут же с бабушкой они, уже глубокие старики, уехали из Сновска.

Помню их приезд в Москву в двадцать девятом году. Я был тогда комсомольцем, считал, что торговцы сами ничего не производят и, следовательно, доходы их «нетрудовые». Но передо мной были мои дедушка и бабушка, всю жизнь они работали с утра до ночи, занимаясь единственным, чем вынуждены были заниматься многие евреи в царской России, – торговлей. Я видел двух раздавленных жизнью стариков, без крова, без угла, без средств к существованию.

Дети?! Один сын жил в Америке, другой в Палестине, третьего расстреляли, четвертый – «сын торговца» и сам бывший торговец – метался по России в поисках пристанища, пятый – комсомолец, отрекся от отца-«эксплуататора». Две дочери были замужем, имели семьи, жили в перенаселенных коммунальных квартирах, и зятя, которые много лет ели дедушкин хлеб, тяготились стариками. Но дедушка и сам никому не хотел быть обузой. Разоренный, выгнанный из дома, только что вышедший из тюрьмы, «лишенец», то есть лишенный права на труд, на заработок, на жилье, даже на хлебные карточки, он не пал духом, успокаивал и ободрял свою едва передвигавшуюся старуху жену, искал работу.

Людей раздражает вид чужого несчастья, собственные заботы мешают разделять чужие. У бабушки тряслись руки, она пролиwała суп, крошки застревали в дедушкиной бороде.

У меня ничего не было, кроме молодости, бесконечной жалости к бабушке и своей отдельной комнаты. В этой комнате старики жили со мной почти год.

Дедушка уходил рано утром и возвращался поздно вечером. Искал работу. Искал в синагоге, где собирались старые евреи, надеялся на их помощь. Они ничем не могли ему помочь, но дома он говорил, что завтра, самое позднее послезавтра, получит «место». Он хватался за малейшую, самую призрачную надежду. Человек слова, верил словам других. Он шутил и смеялся. Голодный, уверял, что сыт, и в доказательство всегда что-нибудь приносил бабушке: кусочек селедки, половину крошечного бутерброда с баклажанной икрой, горстку винегрета, завернутую в бумажку. Улыбаясь, смотрел, как бабушка, присев у окна, медленно это съедала. Когда дедушка уезжал в Ленинград, где родственники подыскивали ему работу, я провожал его на вокзал. Мы сели в трамвай. И по тому, как дедушка садился в трамвай, я понял, что за год жизни в Москве он садится в него впервые. Все длинные концы по городу совершал пешком. Не позволял себе потратить восемь копеек на билет. На эти восемь копеек мог принести бабушке горстку винегрета.

В Ленинграде дедушка устроился ночным сторожем при складе пустых бутылок, он помещался в сыром подвале. Получал восемьдесят рублей зарплаты, шестьдесят из них отсылал в Москву бабушке, двадцать оставлял себе на пропитание. Ни комнаты, ни угла не снимал, жил при складе. Очень дорожил местом, и когда заболел крупозным воспалением легких, не взял бюллетеня, перенес болезнь на ногах, отлеживаясь в сыром подвале, боялся потерять службу. А у него была бронхиальная астма.

Он уволился, только почувствовав приближение смерти – хотел умереть на родине. Заехал за бабушкой в Москву, и они вернулись в Щорс, где дедушка родился, был богат и почитаем, где они венчались, растили детей и внуков, прожили жизнь и где на окраине города им еще принадлежал маленький домик.

Приехав в Щорс, дедушка составил завещание: после его смерти все остается бабушке, а после ее смерти раздается бедным. К завещанию был приложен список давних дедушкиных должников и указано, что эти долги должны быть отданы на синагогу. Через десять дней, в возрасте 73 лет, дедушка умер. Перед смертью он написал детям письмо, в котором просил не оставлять бабушку.

Но детям не пришлось заботиться о ней. Похоронив дедушку, она оставила себе только необходимое для обряда собственных похорон, а остальное свое жалкое имущество раздала тем, кто был беднее ее, сказала, что ей осталось жить три дня и она хочет, чтобы последняя дедушкина воля была выполнена при ее жизни. Ровно через три дня бабушка умерла.

Вера в нечто стоящее выше человеческих невзгод помогла этим старикам достойно завершить жизнь, конец которой был омрачен бедностью и страданиями. У меня сохранилась их фотография: бабушка – еще видная старуха в длинном традиционном еврейском платье и дедушка – чернобородый красавец с величественным, энергичным лицом и добрыми морщинами вокруг глаз.

Я очень любил дедушку. Воспоминания о нем до сих пор волнуют и трогают меня. Помню его сильные руки и засаленный сюртук, пропахший железом и олифой. Человек труда и долга, он умел творить добро, быть справедливым и никогда не терять веры в лучшее будущее. В жизненных испытаниях этот простой человек проявлял больше мудрости и стойкости, чем я. Он был неграмотен и жил миром, который существовал внутри него, – это был хороший и честный мир. Я был учен, жил миром, который окружал меня, и не всегда противостоял его лжи и несправедливости.

2

У дедушки было пятеро сыновей и две дочери. Моя мать – старшая.

Дедушка надеялся, что сыновья, как и он, будут торговцами. Торговцем стал только старший – Толя. Но, в отличие от деда, был торгаш, жадный и лукавый. Во время послевоенной денежной реформы за какую-то операцию с деньгами его осудили на десять лет лагерей. В лагере и умер.

Второй, Гриша, однажды ночью исчез и оказался в Америке, работал там шофером на грузовике. В тридцать втором году приезжал в СССР. Немудрящий человек, спокойный и деликатный. Советскую жизнь одобрял, только не понимал, почему людям запрещают торговать. Гордился значками, удостоверявшими, что в одной фирме он проработал много лет. Через год после возвращения из Союза в Штаты умер. Болел сердцем, но, боясь потерять право на какую-то особую пенсию, продолжал работать. Работа была тяжелая.

Третий – Лева, фантазер и мечтатель, носил пенсне, читал запоем, из него хотели сделать «образованного» человека. Помешали: процентная норма, война, революция, женитьба, а главное – его собственная ленивая созерцательность. В середине двадцатых годов уехал в Палестину, но вскоре там умерла его жена, он вернулся в Россию с двумя сыновьями, устроился в Ленинграде мелким служащим. Хороший был человек, какими часто бывают непрактичные и неумелые мечтатели. Был у него талант рассказчика, мог целый день, а то и ночь пересказывать виденные кинофильмы и прочитанные книги. Во время блокады из Ленинграда не уезжал, участвовал в его обороне и вскоре после войны умер.

Давид был самый младший, в семье его звали Дончик, худенький, мальчишеского роста, с ангельским лицом, но недобрым и мстительным характером. Комсомолец, потом член партии, всю жизнь доказывал, что еще в ранней юности порвал с отцом-торговцем. Я помню бесчисленные заявления, опровержения, сбор свидетельских показаний. Он работал в прокуратуре, болел диабетом, последние годы адвокатствовал. Умер в возрасте пятидесяти пяти лет. Ничем не был похож на своего отца, моего деда. Хорошо вписывался в общественно-социальный фон тридцатых годов.

И только один из сыновей, Миша, попав в горнило великих событий, поднялся до высоты дедушкиного характера. Доброта и отвага, проявление которых в дедушке было ограничено его положением торговца, переросли в дяде Мише – командире Красной Армии, участнике гражданской войны – в безоглядную щедрость и отчаянную храбрость. И внешне он больше других братьев походил на деда – широкоплечий крепыш с чеканным загорелым монгольским лицом и раскосыми глазами, сорвиголова. Другим сыновьям дедушка раздавал пощечины, Мишу колол нещадно.

В конце первой мировой войны, шестнадцати лет, он сбежал на фронт, присоединился к проходящему кавалерийскому эскадрону. Три года не подавал о себе вестей, его считали погибшим, и вдруг он появился в Сновске: живописный красный командир в папахе, длинной кавалерийской шинели, перетянутой ремнями, с шашкой и пистолетом на боку, со звенящими шпорами на сапогах. Весь город им гордился, – герой гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени, ну, а я особенно – мой дядя! в доме полно оружия, в конюшне красавцы кони. Два дня он пробыл в Сновске, и я не отходил от него ни на шаг, куда он, туда и я, он меня не прогонял, добрый человек, бесшабашный, отважный, справедливый и бескорыстный. В революции обрел мужественную веру, заменившую ему веру предков, его прямой ум не выносил талмудистских хитросплетений, простая арифметика революции была ему понятней, гражданская война дала выход кипучей энергии, ясность солдатского бытия освобождала от мелочей жизни.

С ним мы чувствовали себя в безопасности, но вскоре он уехал, и снова начались страхи перед бандами, белыми, зелеными, разными «батьками» и атаманами, свирепствовавшими в окрестных селах. Ночью по улицам ходили отряды местной самообороны: дети еврейских торговцев и ремесленников, рабочие депо и железнодорожных мастерских. На станции стояли воинские эшелоны, санитарные кордоны, заградительные отряды, лошади переступали копытами в вагонах... Мир разделился на белых и красных, я был за красных и гордился тем, что в дедушкином доме живет комиссар – матрос Крылов. Рассказывал своим товарищам всяческие небылицы о нашей с ним дружбе. Дружбы никакой не было, было преклонение мальчика перед сильным и грубым военным моряком, на которого я бессознательно переносил свое обожание и преклонение перед дядей Мишей.

Крылова боялись: он собирал контрибуцию и иногда вызывал к себе тех, кому полагалось ее платить, но которые ее не платили. В этих случаях меня отсылали из дому. Но однажды я вбежал с улицы, меня не успели остановить. На полу лежал длинный худой еврей, на нем сидел Крылов и бил его по голове кулаками. Тот извивался, корчился и плакал, грязно-серые штрипки кальсон торчали из-под задравшихся брюк. Крылов повернулся ко мне, и я увидел его налитые мутной кровью дикие глаза. На кухне жались перепуганные люди. Дедушка вошел вслед за мной, взял за плечи и вывел из комнаты.

Я сидел на улице. Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека, где-то на огородах лаяли собаки. И эта вечерняя тишина, когда рядом в доме избивают человека, была страшной и угнетающей. На крыльце показался избитый еврей. Я смотрел на него с отвращением. Но кончилось и мое преклонение перед Крыловым. Нет, он не такой, как дядя Миша.

Осенью девятнадцатого года мы переехали в Москву. Ехали долго, месяца полтора или два по югу России, по Украине. Нигде гражданская война не бушевала так, как здесь. Этот переезд мне хорошо запомнился. Я видел дороги России, по которым катилась Революция – массы людей, поднятых неотвратимой стихией и брошенных в неизвестность.

Пассажирские поезда не ходили, наш вагон прицепляли к проходящим эшелонам. Мосты были разрушены, мы выбирались на действующие дороги в объезд, кружным путем. Леса, поля, деревеньки, белые хаты-мазанки, небо и равномерный стук колес, потом опять шумные станции, вокзалы, воинские эшелоны, разутые красноармейцы, щеголеватые матросы, рабочие, мешочники, озверелые толпы людей, кидающиеся на проходящие поезда, люди на крышах, тормозах и буферах вагонов, митинги, плакаты, частушки.

На одной станции мы стояли очень долго. Из станционных зданий выносили трупы умерших от голода и от тифа. Грязные дети копошились на платформах. Небритые солдаты разводили на путях костры, что-то варили в котелках.

К нашему составу прицепили товарный вагон, в нем везли продовольствие для детских домов Москвы. Вагон был запломбирован. Каким образом узнали о нем красноармейцы, не знаю. Но узнали и окружили вагон. Командиры потребовали выдачи продовольствия. Начальник эшелона им отказал: вагон нетронутым должен быть доставлен в Москву. Командиры грозили, что красноармейцы все равно отберут продовольствие. Пока велись переговоры, толпа увеличивалась: голодные люди облепили вагон, взобрались на крышу, отшвырнули часового, затрещал замок, тяжелая дверь покатила по рельсе.

И в эту минуту появился дядя Миша. Не могу понять, откуда он возник. Я увидел его, когда он уже вскочил в вагон и стоял, обращаясь к толпе.

Он не был ни трибун, ни оратор. Но он был *свой*. Отчаянный, лихой парень, которых так добродушно любит толпа, бесстрашный человек, привыкший управлять себе подобными, не дающий их в обиду, но и не позволяющий самовольничать. Никто или мало кто знал его здесь, но что это за человек, толпа угадала сразу.

О чем он говорил, я не помню. Важно не то, о чем говорил, важно, что стоял в дверях вагона, и для того, чтобы войти в вагон, надо было оттолкнуть его. А дотронуться до него никто бы не решился – застрелит первого, кто поднимет на него руку.

Потом он объявил, что в вагоне есть несколько мешков сухарей и эти сухари сейчас раздают красноармейцам.

Сухари выдавали тут же, у вагона, один сухарь на человека. Солдаты подходили, каждый брал свой сухарь и отходил в сторону. Никто не пытался получить второй.

Сухари кончились. Начали выдавать крошки, по две горсти на человека. Теперь подставляли шапки... Кончились и крошки. Нескольким солдатам ничего не досталось. С ними делились те, кто не успел дожевать свой сухарь. Командиры стояли в стороне, они не брали сухарей, хотя тоже были голодны. Дядя Миша зашел к нам в вагон, пошутил с моей матерью и исчез так же внезапно, как и появился.

Таким я видел его в последний раз, таким запомнил, таким представлялся мне истинный революционер. «Домой не ждите, пока не возьмем Варшаву», – так писал он дедушке, когда служил в конном корпусе Гая.

После гражданской войны дядя Миша был командиром расквартированной в Чернигове части. В городской тюрьме содержались трое его земляков-сновчан. По стране ходили тогда всякого рода денежные знаки: советские, царские ассигнации, карбованцы, керенки, деньги, выпускаемые разными правительствами, генералами, атаманами, даже уездами, объявившими себя республиками. Говорили, будто на деньгах, выпущенных Махно, было написано: «Гоп, куме, не журился, у батки Махно гроши завелися». Возможно, это был анекдот того времени. Единственной и надежной валютой считались золотые царские монеты, на них можно было что-то купить у крестьян и перепродать. Однако это преследовалось, как спекуляция золотом. И вот трое сновчан на этом попались, сидели в тюрьме, им грозил расстрел. Их жены кинулись к Мише Рыбакову, видному человеку в Чернигове: дети останутся сиротами, что делать?! Дядя Миша знал этих людей, не считал их преступление таким уж значительным, начал хлопотать за них, хлопоты ни к чему не привели. Тогда со взводом солдат он явился в тюрьму и освободил арестованных.

За это трибунал приговорил его к расстрелу.

Его любили, никто не хотел его гибели, и предоставили возможность бежать, выдали дедушке на три дня на поруки. Факт невероятный, тем не менее это было так. У дедушки стояли наготове лошади. Но дядя Миша бежать отказался. Он объехал всех, кому задолжал: сапожника, портного – был щеголь, – роздал долги, попрощался с дедушкой и вернулся в тюрьму.

Безусловно, его расстреляли, однако никто не поверил в его смерть. Много лет после этого дедушке сообщали, будто встречали дядю Мишу то в Харькове, то во Владивостоке, то вблизи румынской границы. Просто смерть такого человека должна быть абсолютно достоверной, чтобы в нее поверили: он так часто рискует жизнью, так удачлив, что кажется неподверженным смерти.

Но дядя Миша не был удачливым человеком, он был простодушен и прямолинеен, как и та короткая эпоха, в которую жил, – конец этой эпохи был и его концом. Он принимал жестокости войны, но жестокость без войны была ему отвратительна. Он мог стрелять, но не расстреливать. Он жил стихией гражданской войны, а революция и гражданская война – это лава, которую выбрасывают вулканы истории; разливаясь, она все сжигает на своем пути.

Дедушка был противником революции, дядя Миша – ее творцом. Оба они погибли в ее огне. Дядя Миша дрался за революцию, когда она несла людям освобождение. Он вступил с ней в конфликт, когда она начала карать поверженных...

Я рассказал здесь то, что запомнил о своем раннем детстве. Оно осталось в моей памяти мягкими красками украинского лета, огнем и громом российской гражданской войны, мелодиями еврейских молитв, их вековой печалью. Революция вошла в мое сознание, когда она

утверждала принципы свободы и справедливости. Это были ее романтические годы. Но я видел и насилие. «Нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата» – на этой ленинской формуле воспитывалось мое поколение. Позже я увидел, какие страшные и бесчеловечные формы приняла эта формула, когда Сталин сделал ее краеугольным камнем своей государственной политики.

3

Мы приехали в Москву осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года. Переезд (на телеге) с Брянского вокзала (теперь он называется Киевский) показался мне длинным, хотя расстояние до Арбата небольшое. Первое мое впечатление о Москве – мотоцикл с коляской. Мотоциклы я раньше видел, но с коляской – никогда. Я решил, что это детский автомобиль, и испытал восторг, который испытывает ребенок, впервые увидевший пони – маленькую, но живую лошадку.

Поселились на Арбате в доме номер 51, он существует и сейчас. Три восьмизэтажных корпуса тесно стоят один за другим, низкие арочные проезды соединяют два глубоких темных двора, прикрытых квадратами серого московского неба. В квартиры первого корпуса, просторные и солнечные (фасад выходит на Арбат и ничем не загораживается), после революции вселили рабочих, военных, «уплотнив» старых хозяев, шикарные раньше апартаменты оказались коммунальными. Наоборот, небольшие квартиры второго и третьего корпуса, тесные и темные, остались у прежних жильцов. В этом доме на втором этаже второго корпуса в квартире номер 87 я прожил до ареста, до ноября тридцать третьего года. В пятьдесят девятом году там умерла моя мать. Дом моего детства, моей юности, я описал его в «Кортике», в «Детях Арбата», он хорошо известен старым москвичам: долгие годы там существовал кинотеатр «Арбатский Арс», потом он назывался «Наука и знание». А соседний, 53-й дом знаменит тем, что в нем 18 февраля 1831 года поселились после женитьбы Александр Сергеевич Пушкин с Натальей Николаевной.

В моем доме и поныне сохранилась булочная, ранее принадлежавшая известному московскому хлебопеку Чуеву. Длинная очередь загибалась с улицы во двор, хлеб выдавали по карточкам – 100 граммов иждивенцу, 200 – работающему. Матери на весь день оставляли нас в очереди, ее номер химическим карандашом был выведен у каждого на ладони. Тревожное, холодное и голодное время. Говорили, что Деникин уже в Туле, в 180 километрах от Москвы. Мальчишки распевали частушки: «Я на бочке сижу, а под бочкой мышка», одни добавляли: «Скоро белые придут, коммунистам крышка», другие: «В Тулу красные придут, монархистам крышка».

Центральное отопление не действовало, квартиры отапливались железными печками-буржуйками: выведенные в форточку трубы тянулись через всю комнату, здесь же лежали и дрова, добытые неизвестно где; если дров не было, в ход шли мебель, книги. Лифт не действовал. Пальто, перешитые из старых солдатских шинелей, латаные, подшитые валенки зимой, рваные сандалии летом. В школе вместо горячего завтрака – кусок селедки с куском непеченного хлеба. Рабочим с окраин было легче: они перебирались в свои деревни или привозили оттуда картофель, капусту, какие-то продукты. Жители Арбата продавали на Смоленском рынке свое барахло. Раз в месяц мы с мамой отправлялись к отцу на работу и на детских саночках привозили с другого конца Москвы его жалкий паек. Пустынный, затихший, холодный и голодный – таким был Арбат начала двадцатых годов.

Арбат – улица интеллигенции. В переулках между Арбатом, Пречистенкой и Остоженкой располагалась Старая Конюшенная – дворянское гнездо Москвы, а вокруг Поварской улицы (Хлебный, Серебряный, Скатертный, Столовый, Кречетниковский переулки, Собачья площадь) обитала когда-то царская кремлевская обслуга. Там же, в районе Никитской, жили профессора, преподаватели и студенты Московского университета. Возле Арбата на углу Никольского и Гагаринского переулков помещалась поликлиника ЦЕКУБУ – центрального комитета улучшения быта ученых. Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, тоже опекалась ЦЕКУБУ.

Мой отец – крупный инженер, семья естественно вписалась в интеллигентную арбатскую среду. В двадцать третьем году, когда жизнь в стране наладилась, у нас появилась высокая сухопарая француженка, больше смахивающая на англичанку. Служила раньше у богатых людей, почему после революции застряла в России, не знаю, на каких правах обитала в нашем доме, тоже не помню, вроде бы как жиличка, помогала маме по хозяйству и заодно обучала детей французскому языку. Жила со мной и сестрой в одной комнате, было неудобно и ей и нам, раздраженная, придирчивая, плохо владела русским, заставляла нас говорить друг с другом по-французски, изводила склонениями и спряжениями, придиралась к произношению, мы ее не любили, нашей матери она надоела своими жалобами. Вскоре ее сменила другая француженка, приходящая, жившая неподалеку с русским мужем, веселая, разбитная, средних лет особа, прошедшая огонь и воду, даже участвовала в гражданской войне с мужем – красным командиром. Скорее всего, он подобрал ее в каком-нибудь борделе, в лучшем случае, в бывшем барском доме, где служила горничной. Никакого образования не имела, но владела живым народным языком, заниматься с ней было весело и интересно, грамматикой нас не мучила, сама была в ней слаба, рассказывала на французском какие-то веселые истории, читали мы с ней Альфонса Доде, Виктора Гюго. К сожалению, занятия эти прекратились, в школе французский язык заменили немецким, но уроки мадам Луизы (по-русски ее следовало называть Елизавета Ивановна) пошли впрок, мы с сестрой читали, писали, разговаривали по-французски, до сих пор в моей памяти живы персонажи прочитанных тогда книг, и даже сейчас, через семьдесят лет, могу кое-как объясниться по-французски.

Ходила к нам и преподавательница музыки, половину нашей детской комнаты занимал рояль «Беккер». К занятиям музыкой я не выказал ни способностей, ни желания. Пионер, потом комсомолец, домашние занятия французским, музыкой я считал признаком буржуазности, часами разыгрывать гаммы и каноны – пустой тратой времени. Я бросил занятия, а Рая, моя сестра, продолжала, поступила в музыкальное училище Гнесиных, занималась у известного профессора Эйгеса. Некоторые ее черты я придал Варе – героине «Детей Арбата».

Этот период материального благополучия в семье был довольно короток и совпал с экономическим подъемом в стране, вызванным нэпом. Отец, беспартийный, как тогда говорили, «спец», получал оклад больший, чем его начальник: жалованье коммунистов, ограниченное «партмаксимумом», составляло, если не ошибаюсь, 175 рублей, затем Сталин его постепенно повышал – 225, 275 и наконец отменил, чем окончательно привлек на свою сторону партийную бюрократию. К тому же отец был изобретатель, рационализатор, изобретения его внедрялись в промышленность, что тоже оплачивалось.

Чтобы освободиться от импорта естественного каучука, в тридцатых годах в стране строились заводы синтетического каучука, сырьем для него служил спирт, выработанный из картофеля. Заводы к сроку не построили, а картофель завезли, громадные его бурты высились под открытым небом, появилась угроза порчи. Никто не знал, что делать. Отец объявил: если ему обеспечат полную свободу действий, независимость и безусловное выполнение его приказов, то весь картофель он переработает на крахмал. Выхода не было. Народный комиссар пищевой промышленности Микоян снабдил отца неограниченными полномочиями. Отец сконструировал крахмалоловушку (она носит его имя), установил ее на винокуренных заводах и за один сезон переработал весь картофель, за что был награжден большой суммой денег; об этом я, будучи тогда в ссылке, узнал из газет. Отец мог бы стать крупным ученым, изобретателем, промышленным деятелем, этому помешали его неуживчивость, раздражительность, мучительный педантизм.

Мной и сестрой отец не интересовался, никогда ничего нам не рассказывал, ни о чем не спрашивал, зато по любому поводу делал замечания: не так сидишь, не так держишь ложку, во время еды не разговаривай, почему смял салфетку, не кроши хлеб на стол. Эта удручающая фиксация каждого движения, этот неусыпный контроль были невыносимы. И тут же, кривая

губы, выговаривал матери: «Твое воспитание». Если мы пытались объясниться, он обрывал нас: «Я не с вами говорю, а с вашей матерью. Помолчите!»

Гладко выбритый, высокий, красивый, с серыми, холодными, слегка выпученными глазами, аккуратно подстриженными усами, он был глуховат, переспрашивал, сердился; со службы возвращался заранее всем недовольный: неплотно прикрыта вторая дверь, тепло из квартиры уходит на лестницу, коврик для ног лежит не на месте, неужели коврик кому-то мешает. Что за люди! «Будем обедать?» – спрашивала мать. «Могу не обедать». За столом хмурым взглядом провожал каждое мамино движение, брезгливо осматривал тарелку, вилку, нож, ложку, хотя посуда сверкала: мать была очень аккуратна; молча сосредоточенно ел. «Второе будет?.. Ах, будет, спасибо!» Съедал все до крошки, и нас с сестрой заставлял съедать все до крошки: ничто не должно оставаться на тарелке, ничто не должно пропадать. Ботинки выставлял на ночь на подоконник, чтобы проветривались, каждый день чистил их в коридоре на расстеленной газете, всем мешал, но соседи молчали, не хотели с ним связываться.

Приходил ночью в детскую, зажигал свет, будил нас, переворачивал на правый бок – спать на левом боку вредно, с детства надо приучать себя спать правильно. Соблюдал порядок сам и требовал того же и от других, негодующий, раздраженный и агрессивный педант. Даже молчал с мрачным и обиженным лицом, готовый взорваться неожиданно, по любому поводу.

Слушая мать, презрительно кривил губы, обрывал: «Не говори глупости».

Я любил мать, жалел ее, страдал, временами ненавидел отца, но не мог преодолеть страх перед его леденящим взглядом. Не спал ночами, обдумывая, как завтра все ему выскажу, как оборву его, с этими мыслями уходил в школу, возвращался, наступал вечер, отец приходил со службы – и снова замечания, недовольство, а я не мог заставить себя произнести слова, которые придумывал ночью. Я был сильный и смелый мальчик, никого не боялся ни во дворе, ни на улице, ни в школе, презирал трусливых, мог дать отпор, умел драться, защитить слабых. Но дома я сам был слаб, это угнетало меня...

Как-то за ужином отец повысил голос, обращаясь к матери:

– Сколько раз тебе надо повторять?!

И тогда я сказал:

– Мама тебя не расслышала.

– Что, что?!

– Я говорю: мама тебя не расслышала.

Он выпучил на меня свои холодные серые глаза, повернулся к матери, скривил губы:

– Вот как мои дети со мной разговаривают, ты их восстанавливаешь против отца, подумай об этом, Дина. – Повернулся ко мне: – А ты – вон из-за стола!

Весь вечер я слышал из родительской комнаты раздраженный голос отца: выговаривал матери из-за меня. На следующий день она мне сказала:

– Толенька, прошу тебя, не спорь с отцом. Ты видишь, как он много работает, устает, у него неприятности на службе, мы должны его прощать.

Но прощать отца я не хотел. С того дня старался реже его видеть. Приходил из школы, обедал, делал уроки и уходил из дома: летом – на задний двор, играть в футбол, зимой – на Девичье поле, на каток или в кино.

А вскоре я поступил в один из первых пионерских отрядов при фабрике имени Свердлова – они создавались тогда на предприятиях. Явился в фабричный клуб в день пионерского сбора, подошел к вожатому и сказал, что хочу вступить в пионеры.

Передо мной стоял сероглазый русоволосый парень. Под стареньким вытертым пиджаком на косоворотку был надет пионерский галстук. Звали его Коля.

– Родные твои, отец-мать, где работают?

Я назвал учреждение, где работал отец.

– Там ты и должен поступать. Мы сюда принимаем только своих – фабричных.

– Там нет отряда.

– Организуйтесь. Соберитесь, пойдите в комсомольскую ячейку, проявляйте инициативу, создайте свой отряд. Чего стоишь?

– Куда я пойду? Служба отца у Красных ворот.

– А живешь где?

– На Арбате.

– Ближко от нас... Завтра праздник, к утру мы должны клуб украсить. Останешься?

– Конечно.

– Становись в шеренгу.

Я пробыл в клубе до двенадцати ночи, мы рисовали и развешивали плакаты, лозунги, таскали столы и скамейки. У меня мелькнула мысль – позвонить маме, предупредить ее, что приду поздно, но сдержало опасение прослыть «маменькиным сынком», я понимал, что меня испытывают на самостоятельность – а ну покажи, каков ты есть... К ужасу мамы я явился домой за полночь.

Так я стал пионером. Во дворе и в школе косились на мой красный галстук, девочки ехидно спрашивали:

– Толя, ты что, в партию записался?

– Вот именно, в партию.

В отряд я ходил каждый вечер: собирали беспризорных в детприемники, пожертвования в пользу голодающих Поволжья, выступали в «Живой газете», высмеивали пьянство, ругань, неуважение к женщине, неуважение к другим народам.

На один слет в Хамовниках в большой актовый зал какого-то института к нам приехал Бухарин. Выступал, рассказывал о положении в стране, о том, чего добивается советская власть, о задачах молодежи, говорил просто, иногда даже весело и смешно, мы его избрали почетным пионером, надели красный галстук. В этом галстук он шел с нами после слета по Большой Царицынской, посередине улицы, без охраны, невысокий, плотный, широкоплечий человек с бородкой и веселыми голубыми глазами, «любимец партии» – так называл его Ленин. Дошел до Зубовской площади, попрощался, я стоял рядом с ним, он хлопнул меня по плечу и сказал: «Давайте, ребята, помогайте Революции!» – и сел в поджидавшую его машину. Мы были преисполнены гордости и восхищения – вот какое значение придает нам страна.

В этом состоянии я пришел домой. И, войдя в коридор, услышал шум в родительской комнате, отец раздраженно выговаривал матери:

– Сколько раз нужно повторять?! Клади на место! Мне надоел этот сумасшедший дом!

Я вошел в комнату, отец уставился на меня. Громко, чтобы он слышал, я спросил:

– Почему ты кричишь на маму?

– Что, что?

– Я спрашиваю, почему ты кричишь на маму?

Он стукнул кулаком по спинке стула:

– Как ты смеешь вмешиваться в наши дела?

– Не позволю кричать на маму!

Я думал, он бросится на меня. Но он вдруг всхлипнул и закрыл лицо руками:

– Хороший сын, хорошие дети...

Это было неожиданно. Я никогда не видел отца плачущим. Отец есть отец. Жалость шевельнулась во мне... Отец отнял руки от лица, глаза были злые, сухие.

– Иди, иди в свою ячейку, в свой райком, пожалуйся на отца.

То, что шевельнулось во мне, погасло.

– Я никому не собираюсь жаловаться, но обижать маму не позволю. Запомни это!

И вышел из комнаты.

Несколько дней я не видел отца. Потом неожиданно вечером он сказал:

– Мне нужно поговорить с тобой.

Я отложил книгу, которую читал, поднял на него глаза.

Отец облокотился о крышку рояля.

– Я никогда ничего плохого вам о матери не говорил, ни тебе, ни Рае, не хотел вмешивать вас в наши отношения. Теперь ты вмешался сам. Так вот: ты должен знать – в нашем разладе виновата ваша мать. Она никогда не понимала моих стремлений, моих интересов, ей безразлична моя работа, ей нужна только моя зарплата. Она оттолкнула от дома моих сослуживцев, потому что ревновала к их женам, к каждой юбке ревновала. И вас настроила против отца...

Все, что он говорит, – неправда, я это хорошо знал.

И я сказал:

– Если люди не могут жить вместе, они должны разойтись.

Через месяц отец уехал работать на Ефремовский завод синтетического каучука.

В моей памяти мать сохранилась такой, какой была она в старости. Небольшая, полноватая, красивая, с густыми всегда хорошо уложенными седыми волосами, карими живыми глазами. Моя тетка, ее младшая сестра, говорила, что мама была хохотушкой и самой остроумной в их семье. Но в моей памяти осталось щемящее ощущение ее печали, незащищенности перед жизнью. Она была мягкой, деликатной, ни с кем не ссорилась, не спорила, старалась казаться веселой, никогда не жаловалась на отца, не хотела разлада в доме. Запомнились ее грустные песни: «Выстрел раздался, и чайка упала, издавши последний отчаянный крик...», «Помнишь ли день, как, больной и голодный, я унывал, выбивался из сил? В комнате нашей, пустой и холодной, пар от дыхания волнами ходил»... У мамы был хороший голос, ее приглашали петь на радио, нам с сестрой очень нравилась эта идея, но отец не разрешил.

Почему не помню ее молодой? Помню отца молодым, сестру девочкой, а вот мать только старой. Возможно, мы помним своих матерей такими, какими они были перед смертью? Или я сохранил ее в памяти такой, какой увидел после долгих лет разлуки, после тюрьмы, ссылки, скитаний по России, после войны, после возвращения, она была тогда уже седая, немолодая.

Когда отец уехал от нас в Ефремов, мать подыскала работу, стала «надомницей», какой-то тип вручил ей машинку «Оверлок» для трикотажной работы, являлся раз в неделю, забирал ее продукцию, выговаривал: «Это разве шов?! Это стежки?» Мать отвечала, что освоит эту работу, дальше пойдет хорошо. Но однажды вмешалась сестра. С характером была девочка: «Если вам не нравится мамина работа, отдайте в другое место». Эту сцену я и застал, когда пришел домой. «Ну да, вы портите изделие, а ваша дочь будет мне выговоры строить?» – возмутился тип.

Я сгреб все со стола, сунул ему в руки машинку:

– Чеши отсюда!

После этого мама ходила по квартирам, распространяла билеты разных лотерей: Осовиахима, помощи голодающим Поволжья, еще чего-то... Я представлял, как она стучится в чужие двери, что-то кому-то предлагает, унижительное, конечно, занятие.

В тридцать третьем году меня исключили из комсомола и из института. Я скрыл это от матери, был уверен, что восстановят, делал вид, что уезжаю на занятия, «стипендию» зарабатывал, разгружая вагоны на Киевской-товарной. Но скрыть не удалось, от кого-то мама узнала, сразу поняла, чем это грозит, и с той минуты вся ее жизнь сосредоточилась на одном – как спасти меня. Предложила уехать к каким-то дальним родственникам, или даже в Нахичевань к знакомым нашей соседки-армянки. Я ее успокаивал, посмеивался над ее страхами, арест мне не грозит, наоборот, уехав, не сумею восстановиться, и это вызовет еще большие осложнения. Я ходил из одного учреждения в другое, ничего не добился. Тогда, минуя все инстанции, обратился к самому Солыцу, главному человеку, разбиравшему конфликтные партийные дела, чудом попал к нему, и он отменил мое исключение. Восстановили в институте, в комсомоле, но переубедить мать не удалось – она чувствовала приближение катастрофы.

Как-то, возвращаясь домой, я увидел ее у часовой мастерской, она делала вид, будто рассматривает выставленные за стеклом часы, а сама искоса наблюдала за воротами нашего дома, потом пошла назад, вглядываясь в лица прохожих, дошла до аптеки, перешла на другую сторону улицы и опять пошла вперед, вглядываясь в людей, входящих и выходящих из нашего дома. Так продолжалось долго, может быть, час, она кого-то высматривала, выслеживала... Наконец вошла во двор. Я догнал ее и спросил:

– Кого ты высматривала?

Она оглянулась – никого сзади не было, посмотрела на меня широко раскрытыми глазами:

– За тобой следят, их трое, вижу их здесь каждый день.

– Мама! Меня всюду восстановили, все кончилось. Выкинь эту муть из головы, не отравляй себе жизнь!

Она молчала, сутулилась, мелко кивала головой, будто у нее тик. Я не переубедил ее, она была во власти страха.

В доме ее настораживал каждый звук, она стояла у дверей, прислушиваясь к шагам на лестнице, взбиралась на подоконник: смотрела, кто идет к нашему подъезду, дрожащими руками поднимала трубку телефона – вдруг это меня вызывают *туда?*..

Я сел рядом с ней, взял ее руки в свои:

– Мамочка, дорогая, перестань волноваться, все прошло, кончено, та история уже всеми позабыта, не терзай себя.

Она молчала некоторое время, потом сказала:

– *Они* ничего не забывают и ничего не прощают.

Мать оказалась права, предчувствие не обмануло ее. Они пришли ночью, позвонили, я открыл им, один часовой встал у входных дверей, другой – у черного хода, уполномоченный прошел в комнату, предъявил ордер на обыск и арест. Я не знал, как впустить их в мамину комнату, что будет с ней, когда она увидит этих людей, но она уже не спала, стояла, опираясь локтями о крышку комода, запуская пальцы в волосы, прислушиваясь к тому, что делается в моей комнате. Молча смотрела, как уполномоченный перебирает вещи в шкафу, роется в чемоданах, рассматривает фотографии. Когда он вернулся в мою комнату, она вышла за ним в платье, наспех натянутом на ночную сорочку, жалко улыбаясь, подошла ко мне, провела дрожащей рукой по моим волосам.

– Гражданка, посидите в своей комнате, – сказал уполномоченный.

Эта казенная категоричность всегда пугала маму, а сейчас испугала особенно: она сделала такое, что может мне навредить.

– Может, всем лечь на пол? – спросил я. Уполномоченный удивленно воззрился на меня.

– Мы живем одной семьей, моя мать имеет право здесь присутствовать.

Мама осталась.

Обыск продолжался часа два, забрали документы, записные книжки, институтские тетради, письма, уполномоченный спросил, где можно помыть руки.

И тут мать засуетилась, достала из шкафа свежее полотенце и протянула уполномоченному с заискивающей улыбкой: может, *там* этот человек облегчит мою участь.

Рая потом мне рассказывала: мама месяцами разыскивала меня по московским тюрьмам, сутками выстаивала на морозе в тюремных очередях, готовила передачу и опять сутками стояла с ней у высокой тюремной стены, неделями высиживала в тесных душных коридорах у прокуроров, писала заявления, через какие унижения прошла, через какое хамство, грубость, бездушие – все это хорошо известно, это была жизнь миллионов наших матерей. И ее письма в ссылку, и ожидание моих писем, и беспокойство за то, что их долго нет или нет очередного письма (я их нумеровал), и волнения, не продлят ли мне срок, отпустят ли? Потом начались мои многолетние скитания, мне запретили жить в больших городах, и все же в России у меня

был свой дом, я не имел права там появляться, и все равно это был *мой* дом – там жила моя мать... Приезжая в новый город, я прежде всего шел на почту и звонил в Москву: «Мама, я жив-здоров, здесь я лучше устроюсь, пиши мне до востребования...» Были дни отчаяния, когда не хотелось жить, но я не мог умереть, иначе умерла бы и мать. Частые переезды говорили маме о моей скитальческой жизни, я мог бы сделать попытку продержаться где-нибудь подольше. Но был осторожен, лучше смыться, чем попасть в их поле зрения.

Так я просуществовал до войны, мобилизовали меня в армию, стал я солдатом, и моя мать жила как все матери России, чьи сыновья были на фронте, общая беда уравнила всех.

Перед смертью мама тяжело болела, я привозил к ней лучших врачей, медсестра была при ней неотлучно. В этом ужасе болей, уколов, уже в бессознательном состоянии мама ждала меня и нашла в себе силы сказать: «Толя, я умираю». Она боялась смерти и в эти слова вложила всю свою надежду, свою веру в меня, в мою способность ее спасти. Не могла говорить, но эти слова держала в памяти, напряглась, сосредоточилась, чтобы не забыть, не упустить, и когда я вошел, произнесла их, не глядя на меня, обложенная подушками, бледная, с неприбранными седыми волосами – сидела, опустив голову, как бы сторожа эти слова, и, не поворачивая головы, произнесла: «Толя, я умираю».

Я похоронил мать на Востряковском кладбище. Врачи сказали, что смерть ее была неизбежна, помочь нельзя было. И все же до сих пор я живу с чувством вины перед матерью: все ли сделал для ее спасения?

После смерти матери отец, в возрасте 77 лет, привез новую жену из Ессентуков, медсестру, бывшую фронтовичку. Через год она с ним разошлась, разменяв по суду комнату на Арбате, отец дожил свой век в крохотной комнатухе при кухне на Сретенке, в коммунальной квартире, работал инженером в каком-то тресте. Мне было жаль старика, и как-то я пригласил его пообедать со мной в «Гранд-Отеле» – лучшем московском ресторане того времени.

Отец мало менялся с годами, только еще сильнее облысел и уже почти совсем не слышал. Перед тем как нам подали рыбную солянку, вынул из портфеля бутерброд с докторской колбасой, который обычно брал на работу и в этот день взял с собой, выложил его на тарелку и съел вместе с супом. Помню, как оторопел официант, увидя это. Отец был все такой же: ничего не должно пропадать, он по-прежнему боролся с потерями на производстве и в быту.

Умер 80 лет от роду, врачи подозревали рак, вскрытие обнаружило язву двенадцатиперстной кишки, не увиденную рентгенологом.

В крематорий пришли два-три его родственника и один человек со службы – представитель трудового коллектива. Прах отца – Наума Борисовича Аронова – я захоронил в могиле матери.

4

Школа в Кривоарбатском переулке, где я учился, была раньше женской гимназией Хвостовых – семьи либерально настроенных педагогов. После революции по настоянию Луначарского ее директором оставили прежнюю владелицу – Надежду Павловну Хвостову. Те же остались и учителя, преподавалась латынь, древнегреческий, французский, учили бальным танцам, революционные праздники не отмечались, общественная работа не велась. Школа числилась под эгидой ЦЕКУБУ, в ней учились дети арбатской интеллигенции, родительский совет содействия («Совсод») был настроен далеко не просоветски. Школа давала хорошее образование, некоторые ее выпускники стали впоследствии видными учеными, но все в области технических наук, далеких от коммунистической идеологии. Впрочем, в сталинские времена многие из них вступили в коммунистическую партию, а один даже оказался членом ее Центрального комитета. Но эта трансформация произошла потом, а пока школу, ранее прогрессивную и передовую, стали считать реакционной и ретроградной.

В годовщину Октябрьской революции (не то пятую, не то шестую) преподавателю литературы пришлось прочитать нам «Двенадцать» Блока: «Гетры серые носила. Шоколад Миньон жрала... с юнкерём гулять ходила, с солдатём теперь пошла...» – как все это читать детям? Наконец он добрался до слов: «В белом венчике из роз – впереди – Иисус Христос...», посмотрел на нас, многозначительно поднял палец, но поспешил опустить его. Как объяснить присутствие здесь Иисуса Христа, тоже не знал, что-то мямлил до конца урока.

Учительница истории в тот же день на вопрос об ее отношении к революции ответила: «В гражданской войне против большевиков погиб мой муж-офицер, как я должна относиться к революции?» Не могла заставить себя говорить неправду, знала, что никто из учеников не донесет, время всеобщего доноительства еще не наступило.

Однако именно из-за того, что в то бурное, все ломающее время школа сохранила свои традиции, свой наивный дореволюционный либерализм, она осталась в моей памяти как нечто по-старинному добропорядочное и благоустроенное. Была атмосфера старой гимназии, где учителя всем ученикам говорят «вы», где главными предметами были литература, история, иностранные языки, рисование, пение, дикция... «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» Когда танцы заменили физкультурой, вела ее бывшая балерина, и гимнастика сопровождалась аккомпанементом рояля. На большой перемене продавщица в белом халате продавала сдобные булочки, рогалики – я до сих пор помню их вкус и запах. Дав рогалик дежурному, можно было во время большой перемены остаться в классе и «скатать» (переписать) у кого-нибудь невыполненное домашнее задание. Такого рода взятки брал Игорь Харитонов («Харя») – большой был обжора и охотно заменял других дежурных. По коридору парами прогуливались девочки, чистенькие, аккуратные, с косичками и бантиками. Популярными были стишки из дореволюционной пьесы «Иванов Павел»: «Царь персидский грозный Кир в бегстве свой порвал мундир... Укрощал бег конский сам Александр Македонский, коня назвал он Буцефал...» Любимая писательница, конечно, Чарская. Первые ученики: Чебышев – внук знаменитого русского математика, Антик – сын тоже знаменитого до революции издателя, братья Келдыши и другие будущие видные ученые. Я хорошо учился только по литературе и истории. Любил физкультуру. Напротив школы на другой стороне переулочка была спортивная площадка, зимой заливали каток, летом играли в футбол. В 1929 году площадку отдали архитектору Мельникову, и он построил там свой уникальный дом в виде двух бетонных цилиндров с особыми шестиугольными окнами. Но это уже было после меня.

Между тем время шло, ввели нэп, страна быстро восстанавливалась, отменили продуктовые карточки, на Арбате появились частные магазины, снова возник Охотный ряд, и здоровые красномордые молодцы в белых фартуках рубили на колодах мясо. На Смоленском рынке, где

во время гражданской войны несчастные старухи в старомодных шляпах продавали сломанные замки и медные подсвечники, теперь стояли палатки, торговали продуктами, мануфактурой, обувью. У китайцев покупали игрушки – шарики на резинке, резные бумажные фонарики, пищалки «уйди-уйди», по дворам ходили татары-старьевщики: «Старье берем, старье берем», через черный ход молочницы доставляли жильцам по утрам молоко, мужики – зелень и картофель.

В Москве появились частные издательства, в нашей школе учился сын владелицы издательства «Никитинские субботники», на Арбате сохранилось издательство Сабашниковых, известный эстрадный артист Смирнов-Сокольский выпускал газету «Куда идти, кому жаловаться». В арбатских кинотеатрах «Художественный», «Карнавал», «Арбатский Арс», «Прага» в фойе перед сеансами чечеточники выбивали чечетку, припевая: «Два червонца, три червонца или сразу пять, за червонцы, за червонцы можно все достать», в цирке знаменитые клоуны Бим-Бом выходили на арену с портретами Ленина и Троцкого, обсуждали, куда их поместить, решали: одного – повесить, другого – к стенке, «к стенке» означало в то время расстрелять. Революция позволяла тогда смеяться над собой – в этом была ее сила.

Мое поколение выросло на книгах, телевидения не было, радиовещание только началось. Конечно, театры, кино. У нас на Арбате – Театр Вахтангова, знаменита была тогда «Принцесса Турандот». В одном из переулков возле Арбатской площади – театр «Габима». И были театры Мейерхольда, Таирова, Революции, ТРАМ, множество разных студий, выставки авангардного искусства. Но каждый день ходить в театр, кино, на выставки – накладно, да и времени не было. А книга всегда с тобой. Дорогу новой, послереволюционной литературе прокладывал самый ее оперативный жанр – поэзия. Многие писали тогда стихи. Даже одного нашего мальчика-третьеклассника напечатали не то в «Комсомольской», не то в «Пионерской правде» (в последующем он стал известным поэтом Евгением Долматовским). Мы ездили в Политехнический музей на вечера Маяковского, нам импонировал этот гигант-трибун, громовым голосом прославляющий революцию, остроумно парирующий реплики зрителей. Ездили в рабочие клубы, там выступали комсомольские поэты: Безыменский, Жаров, Уткин, Светлов, Голодный. Возле Арбатской площади, на Никитском бульваре, 8, был Дом печати, Маяковский выступал и там, но поговаривали, что больше времени проводит в бильярдной. Читали стихи Есенин, Мариенгоф, Рюрик Ивнев, Шершеневич.

На Арбате, на углу Староконюшенного переулка, в доме номер 27, в громадной квартире располагалось объединение писателей «Кузница», в этой же квартире многие из них и жили. Часто устраивались литературные вечера, читки, диспуты. Вход свободный, я туда заходил – от моего дома это в двух кварталах. Как-то, перед тем как пойти, я позвонил и спросил, кто у них сегодня читает. Мужской голос назвал неизвестную мне фамилию и значительно добавил: «В обсуждении примет участие Александр Серафимович. А кто спрашивает?» На его вопрос я, естественно, не ответил, положил трубку и решил пойти: «Железный поток» только что вышел, имел успех, интересно посмотреть на его автора.

Комната большая, народу мало, «Серафимович, к сожалению, не сумел приехать». Сидевший за председательским столиком человек в пенсне, с пышной шевелюрой, ниспадавшей на воротник помятого пиджака, поминутно спрашивал:

– Товарищи, а кто звонил полчаса назад?

Этот же вопрос задавал каждому входящему: «Вы звонили, спрашивали насчет обсуждения?»

Даже во время читки то и дело недоуменно вопрошал:

– Кто же все-таки звонил?

Был этим очень озабочен, и все были озабочены: возможно, звонило какое-то видное лицо.

Ясно – речь шла о моем звонке, я, конечно, молчал, но был поражен, что такое незначительное обстоятельство может обеспокоить писателей, людей известных, свободных, независимых, так сказать, «учителей жизни», духовных наставников. Этот эпизод заронил тогда во мне сомнение в избранности писательской личности, оно укрепилось, когда я сам вошел в эту среду. Однако не поколебало мою любовь к литературе.

Мы продолжали ходить на выступления поэтов, диспуты и литературные вечера, лекции политических лидеров, новая жизнь кипела и бурлила вокруг. А наша школа по-прежнему жила по своим законам. Конечно, ничего антисоветского, просто молчаливое неприятие действительности. То, что происходило вне ее стен, даже не обсуждалось. Естественно, долго так продолжаться не могло. В «Правде» появился фельетон Михаила Кольцова «Драма в школе» – один из наших учеников покончил жизнь самоубийством. На смену Надежде Павловне Хвостовой пришла новая заведующая – член партии, из других школ в нашу перевели несколько комсомольцев-старшеклассников.

Среди них самой яркой личностью был Гриша Эйдинов, сын бурового мастера из Баку, типичный комсомолец начала двадцатых годов, летом – в кожаной куртке, зимой – в длинной кавалерийской шинели и кубанке, впрочем, вежливый, когда надо – благожелательный. Он сразу изменил общественную атмосферу, организовал комсомольскую ячейку, создал самоуправление, в школе стали отмечать революционные праздники.

Действовал по-большевистски. При выборах ученического комитета старшеклассники задумали провалить комсомольский список и провести свой. Гриша собрал сначала учеников первой ступени, малыши единогласно утвердили предложенный им состав. Собрание старшеклассников уже значения не имело – их было меньшинство. На обвинения в незаконности таких выборов Гриша ответил, что зал не вмещает всех учащихся, не кричал, не митинговал, говорил спокойно, рассудительно, убежденный в своей правоте, и мы, его сторонники, пионеры и комсомольцы, тоже были убеждены в нашей правоте: не выбирать же в учком антиобщественников?!

Так же спокойно и рассудительно доказал Гриша на собрании родителей, что родительский совет содействия надо переизбрать: его деятельность противоречит линии партии в области народного образования. Все отлично поняли намек этого парня в кожаной куртке и безропотно переизбрали совет, включив в него трех коммунистов и двух рабочих, которые нашлись среди родителей.

Как-то в школу пригласили старика француза – доживавшего свой век в Москве участника Парижской коммуны. Чтобы ученики не разбежались после уроков, Гриша приказал запирать вешалку, закрыть двери, никого не выпускать. Встреча состоялась. Принуждать людей ходить на собрание безнравственно? А пренебрегать памятью героических парижских коммунаров, расстрелянных у стены Пер-Лашез, – это нравственно? Так рассуждали мы тогда. И я так рассуждал. И все же смущали испуг и растерянность, которые видел я на лицах учителей, многих учеников, особенно девочек – мы внушали им страх. Я старался подражать Грише – не кричал, уговаривал, убеждал. Но не получалось, как у Гриши: в его голосе была особая тональность, которой я не владел. Однажды он мне насмешливо сказал: «Либеральничаешь?» Вроде бы беззлобно сказал, но со значением, он все говорил со значением.

Мы во всем поддерживали Гришу, были его верным и преданным окружением, он олицетворял для нас новую, революционную мораль, находил время для каждого, внимательно выслушивал, давал ненавязчивые советы, ободряюще улыбался, у него были небольшие карие глаза, то ли усталые, то ли грустные, мясистый нос, откиннутые назад черные прямые волосы. В лице была некая асимметрия, может быть, из-за чуть скошенного рта и чуть отвислой нижней губы. Нам нравилось, что он с Кавказа, рассказывал о Сураханах, Балаханах, Биби-Эйбате, нефтяных промыслах, о бакинском пролетариате, о двадцати шести бакинских комиссарах, убитых англичанами...

В декабре 1925 года покончил с собой Есенин. Его тело привезли из Ленинграда. Я и еще несколько ребят пошли на панихиду в уже упомянутый мною Дом печати на Никитском бульваре. На фасаде дома висел большой плакат: «Умер великий поэт». Народу было много. После панихиды гроб вынесли, и многолюдная похоронная процессия двинулась по Никитскому и Тверскому бульварам. Всю дорогу гроб несли на руках, два раза обнесли вокруг памятника Пушкину. На Ваганьковском кладбище опять выступали с речами. Как и в Доме печати, я их не слышал, там я стоял во дворе, здесь – далеко от могилы. Я знал, что у Есенина было много поклонников, но и много врагов, называвших его «кулацким поэтом», преследовавших и бранивших его в печати... «Но, обреченный на гоненье, еще я долго буду петь, чтоб и мое степное пенье сумело бронзой прозвенеть». Я знал, что он пьянствует, устраивает скандалы, но любил Есенина, грусть его поэзии, чудесное сплетение слов... «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне...», «О Русь, малиновое поле и синь, упавшая в реку, люблю до радости и боли твою озерную тоску»... Пронзает сердце.

Смерть Есенина взбудоражила молодежь. Этого не могла скрыть и затушевать даже мощная государственная пропагандистская машина. Были случаи самоубийств, были собрания, выступления, направленные против режима, толкнувшего на смерть лучшего поэта России. Комсомольский поэт Иосиф Уткин, и тот написал: «И кроме права жизни, есть право умереть». В нашей школе было объявлено, что ближайшее заседание литературного кружка посвящается памяти Есенина, и на него приглашаются все желающие.

Гриша тут же собрал комсомольцев, сказал, что заседание литкружка, посвященное Есенину, будет носить антисоветский характер и мы обязаны дать этому отпор, должны пойти на это заседание, выступить и защитить партийную точку зрения на творчество Есенина и на факт его самоубийства.

- Первым выступишь ты, Толя, – сказал он мне.
- Почему именно я?
- Ты вроде бы знаток Есенина. Даже был на его похоронах.
- На похоронах я был, но это не значит, что знаток.
- Пошел просто поглазеть?
- Нет, пошел потому, что считаю его крупным поэтом.
- Считаешь крупным? Значит, знаешь его. Вот и выступи, только с наших, партийных позиций выступи.
- Против Есенина выступать не буду.
- Это комсомольское поручение.
- Не комсомольское, а лично твое.
- Проверим! – Он обратился к собранию: – Как? Будем выступать? Дадим отпор анти-советчикам?

Вскочил Левка Бычков, Гришин подлипала. По школе ходило ироническое стихотворение про Гришу («Наш предучком и господин»), в нем были строчки: «И, ожидая приказаний, Бычков трепещет перед ним».

- Конечно, мы все обязаны выступить, – объявил Левка Бычков.

И хотя все молчали, Гриша сказал мне:

- Видишь, что думают другие комсомолы?
- Я выступать не буду.
- Отказываешься? Хорошо! Обсудим и сделаем организационные выводы.

Однако давать отпор и делать «организационные» выводы не пришлось. Накануне заседания кружка Гриша опять собрал нас.

- Мы не пойдем на их заседание, не будем помогать им раздувать истерику в школе. Поболтают и разойдутся.

Неплохой тактик, Гриша сообразил, что ничего хорошего дискуссия не даст. Комсомольцы начнут цитировать казенные фразы из газет, а поклонники Есенина будут читать его стихи, победа окажется на их стороне. И не надо ввязываться. Умел маневрировать, не допускал поражений.

Школьный драмкружок вела Елена Павловна – сестра бывшей заведующей школой, в прошлом актриса. Ставили русскую драматическую классику. Играли ребята хорошо.

Гриша пригласил Елену Павловну на учком, любезно пододвинул ей стул и, улыбаясь, сказал:

– Елена Павловна, нам кажется, следует ввести в репертуар современные пьесы.

– Какие?

– Хотелось бы видеть на сцене жизнь рабочих и крестьян, а не только дворян и купцов.

Она пожала плечами. Пожилая представительная женщина с хорошей актерской осанкой.

– Мы ставим Островского, Гоголя, Грибоедова, Фонвизина, ничего другого они не писали.

– Есть и наши, советские авторы.

Она снова пожала плечами:

– Мы репетируем «Ревизора»... Не знаю... Может быть, в будущем году.

– Нет, Елена Павловна, мы хотим, чтобы к Первому мая вы поставили какой-нибудь революционный спектакль.

– Но до мая осталось два месяца, это невозможно! Пьесу надо выбирать, спектакль надо готовить. Я не могу делать кое-как, я ученица Станиславского.

– Значит, вы отказываетесь?

– В мае мы даем «Ревизора», ничего уже изменить нельзя.

– Что же, спасибо, Елена Павловна.

Она вышла.

– Поставим вопрос перед дирекцией, – сказал Гриша.

Я спросил:

– Думаешь, ее заставят?

– Пьесы советских авторов ей чужды, – ответил Гриша. – Ничего, найдут другого руководителя драмкружка.

Для меня Елена Павловна была неотделима от школы. И она права: за два месяца подготовить спектакль, да и неизвестно по какой пьесе, – невозможно.

– Как же можно ее заменить? – возразил я. – Она в школе много лет.

– Романовы правили Россией триста лет, и то прогнали. – Гриша помолчал, посмотрел на меня, сузив глаза: – Пора избавляться от интеллигентщины, Толя!

Замены руководителя драмкружка он добился.

Гриша пришел к нам в последний, девятый класс, окончив его, ушел на комсомольскую работу и вскоре стал секретарем самого престижного в Москве – Краснопресненского райкома комсомола. Мы этому не удивились – прирожденный политический лидер.

В начале тридцатых годов я, отовсюду исключенный, явился на разбор своего дела в Московский комитет комсомола. На диване, окруженный парнями и девушками, сидел Гриша в своей длинной шинели и кубанке. Пристально и сурово посмотрел на меня, отстранив этим взглядом, и отвернулся. Не хотел узнавать.

Гриша сделал большую партийную карьеру, стал секретарем Центрального комитета компартии Белоруссии, после войны его перевели в Москву, на ответственную работу в Совет Министров.

Мы встретились с ним почти через 35 лет. В декабре 1965 года он неожиданно позвонил мне, сказал, что читает мои книги, и предложил зайти, поболтать. Я работал тогда над «Детьми Арбата», успел опросить многих людей, знавших Сталина, подумал, что и Гриша наверняка

встречался с ним, расскажет что-либо, и поехал в новый «цековский» дом на Ленинградском проспекте. Грише было уже под шестьдесят, появилось сановное брюшко, лицо стало одутловатым, отчего еще очевидней проступала его асимметрия. Он провел меня в большой полутемный кабинет, уставленный дорогими книжными шкафами, книги лежали и на столе рядом с газетами и журналами – кабинет крупного партийного деятеля, к тому же интеллектуала, участливо расспросил о матери, сестре, знал их когда-то. Зашел разговор и о Хрущеве.

– Тысячи вредителей за десятки лет не могли бы нанести столько вреда стране, сколько нанес Никита, – сказал Гриша. – Он оплевал самый героический отрезок нашей истории. Я знаю, Толя, ты пострадал, многие пострадали, и все же это было великое время. Классовая борьба была, есть и будет. Все разговоры о мирном сосуществовании с буржуазией – ерунда. Если мы им будем уступать, они будут наступать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.